

«Русская мысль»

«Иван Иванович запел». А во-вторых, пусть противу всех внешних обстоятельств он бы запел в конце сороковых или начале пятидесятых — что бы с ним случилось? Понятно что. И не надо в том сомневаться. А ко всему тому еще и магнитофонов тогда не было, так бы и умерли три-четыре его первые песенки среди узкого круга его первых слушателей, которые в большинстве своем разделили бы печальную судьбу соловья.

Но случилось то, что случилось. Оттепель, весна, капель, свежий ветер, всеобщее воодушевление — и тридцать с небольшим лет, молодой еще возраст для человека романтического склада. А разлюбить слушатель-читатель своего соловья мог уже в одном случае: начини тот высокомерничать и упиваться своей обретенной над собеседником властью, примись пророчествовать, учительствовать, витийствовать, потерять естественность своих чувств, прямоту интонации, глубину переживаний.

Ничего этого с Окуджавой не произошло. Мудреца с годами и становясь усталее, он оставался все тем же замечательным, чудным собеседником — доверяющимся, открытым и равно желающим вашего ответного доверия, — как же можно было отшатнуться от него, потерять возможность общения с ним? Вот так и оказалось, что голос его влился в цветной яркой нитью в тот суровый канат, что представляла из себя эпоха, следовавшая за «оттепелью», и без этой нити представление о ней никогда не будет полным.

Ко всему тому Окуджава начал писать и прозу. То есть он начал писать ее вскоре после того, как запел. Повесть «Будь здоров, школяр» датирована 1960-1961 гг., но тогда, да и позднее, в конце 60-х, когда в серии «Пламенные революционеры» вышла его повесть о Пестеле «Глоток свободы», казалось, что проза для него — нечто вроде отхожего промысла, ремесла на стороне, которым занялся в свободное от главных занятий время. Однако подобное впечатление было обманчивым. Проза оказалась для него таким же серьезным занятием, как и поэзия. И — удивительное дело! — мало-помалу открылось, что и в прозе он такой же замечательный собеседник, как в своих стихах-песнях. То есть собеседничество действительно было дано ему как Дар, который он сумел не протранжирить зазря и попусту, а, храня его в себе, как бы пересел с уже освоенного места за одним столиком, на одном диване, за другой столик, на другой диван.

«Когда я очнулся, никого рядом не было. Крови натекло с полведра, ей-богу. Откуда взялись силы приподняться, не знаю. Но приподнялся и пополз вдоль сарая, покуда не поравнялся с дверью. Внутри никого не было, но соломы и сена хоть отбавляй, и треногий стол у стенки, а на нем, ей-богу, полкаравая хле-



Буллат Окуджава. Одна из последних фотографий. Фото М.Лемхина.

ба, бутылка с водой и кружка, все свежее, видно, хозяева ушли недавно, так все и бросили. Я кое-как перевязал себе рану, зарылся в сено и не то уснул, не то потерял сознание, и слава Богу, потому что рану начало сильно жечь».

Я взял для цитирования буквально первое место, которое произвольно открылось в верхней из его книг, лежащих сейчас передо мной. Это — из романа «Свидание с Бонапартом». Совершенно очевидно: никаких профессиональных, существующих в прозе приемов, чтобы расположить к себе читателя, заинтересовать его, приковать к рассказу его внимание, — а между тем текст и располагает, и заинтересовывает, и приковывает. Окуджава и в прозе оказался тем же самым собеседником, каким был в стихах-песнях. И — что также весьма существенно для собеседничества — самоироничным.

Эта самоирония особенно замечательно работает в его автобиографических вещах. Кажется, Окуджава даже и выбирает для рассказа истории своей жизни, где можно посмеяться над собой, осудить себя, а то и горько вздохнуть: братцы, вот таким был, сожалею — но это я, а не кто другой. В этом отношении в высшей степени характерен рассказ «Около Ривولي, или Капризы фортуны». Окуджава описывает в нем свое первое пребывание в Париже в далеком 1968-м. (Ну, то есть в рассказе действует тот самый Иван Иванович, который на деле Отар Отарыч, но истинное имя героя нам прекрасно известно).

Герой рассказа, приехавший в Париж как в мировой заповедник всего запретного в Советском Союзе, жадно пытается приникнуть к этому источнику запретного — и вот на площади перед Нотр-Дамом соблазняется покупкой у артистичного молодого человека, как ему кажется, порнографических открыток, потратив едва не треть всех имеющихся у него франков, едет в автобусе, не смея открыть пакетик, до отеля, а когда в одиночестве номера открывает его, то оказывается, что приобрел скверного качества

черно-белые фотографические снимки с полотен великих мастеров прошлого.

А вот герой рассказа после триумфа выступления перед русским Парижем, после записи на студии, что сделало его обладателем весьма приличной для советского человека суммы во франках, оказывается в магазине, где лихорадочно принимается набирать в громадную сумку все, что попадает под руку. Стыдится сам себя — но набирает. Апофеозом этого стыда становится история с магнитофоном, который, едва герой выходит из магазина, падает и перестает работать. Сгорая от стыда, герой уговаривает гида-француза пойти, обменять магнитофон, понимает, что это скверно, и

ничего не может с собой поделать: ему так хотелось такой магнитофон, а денег купить новый больше нет — все потрачено. Поменять магнитофон герою удается. А дальше — еще большая удача: оказывается, в Париже, о чем герой не имел и понятия, вышла его книга, издатель оплачивает двухнедельное пребывание героя в Париже сверх того срока, что он уже здесь пробыл, и вновь гонорар — fortuna улыбается герою во все лицо! С карманом, полным денег, герой бродит по Парижу, наслаждается его видами и набредает, как ему представляется, на кинотеатр порнофильмов. Первая его попытка приобщения к запретному была неудачна, теперь ему должно повезти. Он заходит в «кинотеатр», на лестнице его встречает прекрасная женщина... И вот он наконец, спустя недолгое время, вновь оказывается на улице, но уже без гроша в кармане: то был вовсе не кинотеатр, как герою примнилось по рекламе, а ресторан со стриптизом, где все устроено так, чтобы ободрать посетителя как липку.

Надо непременно отметить, что помимо замечательной собеседнической интонации рассказ еще и восхитительно выстроен — с тем новеллистическим тщанием, с каким невольно выстраивает свою историю в застольном разговоре любой рассказчик, если хочет, чтобы его выслушали. «Не заносись, не гордись, не попустительствувай низкому в себе», — непроницаемое, звучит голосом уже не Ивана Ивановича, а самого Окуджавы за пределами рассказа, когда дочитана последняя фраза. Мораль в настоящем произведении слова не должна быть высказана. Она должна итогом его прозвучать в читательском сознании помимо читательской воли.

Но, конечно же, и тут ничего не поделаешь, так есть, и это неизбежно, прежде всего Булат Окуджава для культуры — поэт, певший свои стихи. Бард. «Давайте понимать друг друга с полуслова, чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова»; «Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе. Девять граммов в сердце постой — не зови... Не везет мне в смерти, повезет в любви», — эти и другие строки долго еще будут звучать в нас голосом ушедшего поэта.

Долго ли они будут звучать после того, как уйдем мы, знавшие его, слышавшие его вживе и в записях? Знать подобное не дано никому. Вспомним уже помянутого здесь Чехова: он полагал, что его забудут вскоре после смерти. Как нам известно, не забыли. Читают и будут читать. И вот мне кажется: если мы и сейчас поем романсы столетней и даже полутора столетней давности, то почему не петь через новые столетия «По смоленской дороге», «Опустите, пожалуйста, синие шторы», «Песенку о ночной Москве»? А будут петь — будут и читать. Наслаждаясь беседой с незаурядным ироничным собеседником из второй половины XX века.

КЛАРА ГУРЬЯНОВА

АНАТОЛИЙ КУРЧАТКИН

Сан-Паулу

Москва

«Ах судьба, что ж ты сделала, подлая...»

«Когда его не станет, я умру», — думала я о себе его словами, но «дворянин с арбатского двора» остается для меня живым, неповторимым, незаменимым. Я уверена, что еще очень долго он будет облагораживать уходящие и приходящие поколения.

В Москве мне не посчастливилось хотя бы издать увидеть и услышать Булата Окуджаву. Без малого 30 лет тому назад, уже здесь, в Бразилии, я начала собирать его поэзию, прозу и пленки с записью песен, и с этих пор он всегда со мной. Он — моя религия, моя вера, надежда и любовь, мой синий троллейбус, моя самая главная песенка, фонаричок, зажегший мне ясный огонь, он — мой язык, наконец, и я не стесняюсь пользоваться его словами: лучше их я бы не нашла, чтобы высказать, насколько он мне дорог, важен и необходим.

Спасибо всем, кто о нем так прекрасно написал, спасибо «Русской мысли» за публикацию этих откликов. Боюсь только, что Оле и Буле от них, может быть, становится еще больнее. Но печаль велика, и тем, кто знал Булата, пусть даже только заочно, а узнав, не мог не полюбить, было бы невозможно не выразить ей.

Вот и я пишу эти строки, просто чтобы разделить эту печаль с вами, здесь-то почти не с кем. Спасибо Булату за его чистоту, за счастливую грусть (или грустное счастье), которые испытываешь, слушая и читая его и о нем.